

ЛЕВ
ТОЛСТОЙ

ДЕТСТВО

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ 1

Лев Николаевич Толстой
Полное собрание
сочинений. Том 1. Детство
Серия «Весь Толстой в один клик»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6375633

Содержание

Лев Николаевич Толстой. Детство.	4
Предисловие к электронному изданию	6
Снимок с дагеротипного портрета Л. Н. Толстого 1848 г. работы Шенфельда в Петербурге (размер подлинника) – между XVI и XVII стр.	8
ГЛАВА I. УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ.	9
ГЛАВА II. МАМАН.	17
ГЛАВА III. ПАПА.	21
ГЛАВА IV. КЛАССЫ.	27
ГЛАВА V. ЮРОДИВЫЙ.	32
ГЛАВА VI. ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОХОТЕ.	38
ГЛАВА VII. ОХОТА.	42
ГЛАВА VIII. ИГРЫ.	48
ГЛАВА IX. ЧТО-ТО В РОДЕ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ.	51
ГЛАВА X. ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ МОЙ ОТЕЦ?	53
ГЛАВА XI. ЗАНЯТИЯ В КАБИНЕТЕ И ГОСТИНОЙ.	56
ГЛАВА XII. ГРИША.	61
ГЛАВА XIII. НАТАЛЬЯ САВИШНА.	65
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Лев Николаевич Толстой. Детство.

Государственное издательство «Художественная литература»

Москва – 1935

Электронное издание осуществлено в рамках краудсорсингового проекта [«Весь Толстой в один клик»](#).

Организаторы:

[Государственный музей Л.Н. Толстого](#)

[Музей-усадьба «Ясная Поляна»](#)

[Компания АБВУУ](#)

Подготовлено на основе электронной копии 1-го тома Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставленной Российской государственной библиотекой

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам info@tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 1-му тому Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого включены в настоящее издание

Перепечатка разрешается безвозмездно

—

Reproduction libre pour tous les pays.

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л.Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в

электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

**Снимок с дагеротипного
портрета Л. Н. Толстого
1848 г. работы Шенфельда в
Петербурге (размер подлинника)
– между XVI и XVII стр.**



ГЛАВА I. УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ.

12-го августа 18.... ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в 7 часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопучкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и, хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим – думал я – я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь – прошептал я – как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает.... противный человек! И халат, и ша-

почка, и кисточка – какие противные!».

В то время, как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа, повернулся к нам.

– Auf, Kinder, auf!... s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal,¹ крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. – Nu, nun, Faulenzer!² говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

– Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!

Мне было досадно и на самого себя и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

– Ach, lassen sie,³ Карл Иваныч! закричал я со слезами на

¹ [Вставать, дети, вставать!... Пора. Мама уже в зале,]

² [Ну, ну, ленивец!]

³ [Ах, оставьте,]

глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?... Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон, – будто татап умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иваныч оставил меня, и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай – маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а

Володя, передразнивая Марию Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:

– Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.

Я совсем развеселился.

– Sind sie bald fertig?⁴ послышался из классной голос Карла Иваныча.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна – наша, детская, другая – Карла Иваныча, *собственная*. На нашей были всех сортов книги – учебные и не учебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома Histoire des voyages,⁵ в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом и пошли, длинные, толстые, большие и маленькие книги, – корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут, перед рекреацией, привести в

⁴ [Скоро вы готовы?]

⁵ [История путешествий.]

порядок библиотеку, как громко называл Карл Иванович эту полочку. Коллекция книг на *собственной*, если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об уваживании огородов под капусту – без переплета, один том истории семилетней войны – в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иванович большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но кроме этих книг и «Северной Пчелы» он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это – кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпенок. На кружке была наклеена картинка, представляющая карриатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иванович очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка; зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому

порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх, в классную, смотришь – Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставлял его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые, полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он – один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! я помню, как он рассказывал ее Николаю – ужасно быть в его положении! И так жалко станет, что бывало подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Liebe⁶ Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна – изрезанная, наша, другая – но-

⁶ [Милый]

венькая, *собственная*, употребляемая им более для поощрения, чем для линеования; с другой – черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками – маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, – а каково мне? и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю, право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, – а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных, табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой – стриженная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плете-

ный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, куда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так делается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть и, Бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.

Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз – здороваться с матушкой.

ГЛАВА II. МАМАН.

Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою – кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какую она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.

Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Clementi. Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком холстинковом платье, в беленьких обшитых кружевом панта-

лончиках и октавы могла брать только *agreggio*.⁷ Подле нее вполоборот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иваныч. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать: *un, deux, trois, un, deux, trois*⁸ еще громче и повелительнее, чем прежде.

Карл Иваныч, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению, с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Иванычу и поцаловала его в морщинистый висок, в то время как он цаловал ее руку:

– *Ich danke, lieber*⁹ Карл Иваныч, – и, продолжая говорить по-немецки, она спросила:

– Хорошо ли спали дети?

Карл Иваныч был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слышал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал:

– Вы меня извините, Наталья Николаевна?

⁷ [Арпеджо – звуки аккорда, следующие один за другим.]

⁸ [раз, два, три, раз, два, три]

⁹ [Благодарю, милый]

Карл Иванович, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволения.

– Наденьте, Карл Иванович.... Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети? – сказала татап, подвинувшись к нему и довольно громко.

Но он опять ничего не слышал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался.

– Пойдите на минутку, Мими, – сказала татап Марье Ивановне с улыбкой: – ничего не слышно.

Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.

Поздоровавшись со мною, татап взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:

– Ты плакал сегодня?

Я не отвечал. Она поцаловала меня в глаза и по-немецки спросила:

– О чем ты плакал?

Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда го-

ворила на этом языке, который знала в совершенстве.

– Это я во сне плакал, тамап, – сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманый сон и невольно содрогаюсь при этой мысли.

Карл Иваныч подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде, – разговор, в котором приняла участие и Мими, – тамап положила на поднос шесть кусочков сахара для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пьальцам, которые стояли у окна.

– Ну, ступайте теперь к папа, дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно.

Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название *официантской*, мы вошли в кабинет.

ГЛАВА III. ПАПА.

Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте, между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами.

Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот: когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно – выражало сознание своего достоинства и, вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а, впрочем, воля ваша!

Увидев нас, папа только сказал:

– Погодите, сейчас.

И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее.

– Ах, Боже мой милостивый! что с тобой нынче, Яков? – продолжал он к приказчику, подергивая плечом (у него была эта привычка). – Этот конверт со вложением 800 рублей....

Яков подвинул счета, кинул 800 и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что́ будет дальше.

– для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь? За мельницу ты должен получить 1.000 рублей.... так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно 8.000; за сено, которого, по твоему же расчету, можно продать 7.000 пудов – кладу по 45 копеек – ты получишь 3.000, следовательно всех денег у тебя будет сколько? 12.000.... так или нет?

– Так точно-с, – сказал Яков.

Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить; папа перебил его:

– Ну, из этих-то денег ты и пошлешь 10.000 в Совет за Петровское. – Теперь деньги, которые находятся в конторе, – продолжал папа (Яков смешал прежние 12.000 и кинул 21.000), – ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. (Яков смешал счета и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги 21.000 пропадут так же.) Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу.

Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано: «Карлу Ивановичу Мауеру».

Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание, на всякий же случай поцаловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече.

– Слушаю-с, – сказал Яков. – А какое приказание будет

насчет хабаровских денег?

Хабаровка была деревня тапан.

– Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказанья.

Яков помолчал несколько секунд; потом вдруг пальцы его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказанья, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счеты и начал говорить:

– Позвольте вам доложить, Петр Александрыч, что, как вам будет угодно, а в Совет к сроку заплатить нельзя. – Вы изволите говорить, – продолжал он с расстановкой, – что должны получиться деньги с залогов, с мельницы и с сена... (Высчитывая эти статьи, он кинул их на кости.) Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах, – прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на папа.

– Отчего?

– А вот изволите видеть: насчет мельницы, так мельник уже два раза приходил ко мне отсрочки просить и Христом Богом божился, что денег у него нет.... да он и теперь здесь: так не угодно ли вам будет самим с ним поговорить?

– Что же он говорит? спросил папа, делая головою знак, что не хочет говорить с мельником.

– Да известно что? говорит, что помолу совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, *судырь*, так опять-таки найдем ли тут

расчет? – Насчет залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели и скоро их получить не придется. Я наперед посылал в город к Ивану Афанасьичу воз муки и записку об этом деле: так они опять-таки отвечают, что и рад бы стараться для Петра Александрыча, но дело не в моих руках, а что как по всему видно, так вряд ли и через два месяца получится ваша квитанция. – Насчет сена изволили говорить, положим, что и продается на 3.000....

Он кинул на счета 3.000 и с минуту молчал, посматривая то на счета, то в глаза папа, с таким выражением:

«Вы сами видите, как это мало! Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать, вы сами изволите знать...»

Видно было, что у него еще большой запас доводов; должно быть, поэтому папа перебил его.

– Я распоряжений своих не переменю, сказал он: – но если в получении этих денег действительно будет задержка, то, нечего делать, возьмешь из хабаровских, сколько нужно будет.

– Слушаю-с.

По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие.

Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек; он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые

странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина насчет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имений на Петровское (село, в котором мы жили). В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом.

Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне ба-
клуши бить, что мы перестали быть маленькими, и что пора нам серьезно учиться.

– Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою, сказал он. – Вы будете жить у бабушки, а папа с девочками остается здесь. И вы это знайте, что одно для нее будет утешение – слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны.

Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного, однако, новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушки.

– Так вот что предвещал мне мой сон! подумал я: – дай Бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже.

Мне очень, очень жалко стало матушку и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня.

«Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет: это славно! думал я. – Однако, жалко Карла Иваныча. Его верно отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта.... Уж лучше бы век учиться да не уезжать, не рас-

ставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Ивановича. Он и так очень несчастлив!»

Мысли эти мелькали в моей голове; я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков.

Сказав с Карлом Ивановичем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак, с тем, чтобы на прощаньи выехать после обеда послушать молодых гончих, папа, против моего ожидания, послал нас учиться, утешив, однако, обещанием взять на охоту.

По дороге вверх я забежал на террасу. У дверей, на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца – Милка.

– Милочка, говорил я, лаская ее и цалуя в морду: – мы нынче едем; прощай! никогда больше не увидимся.

Я расчувствовался и заплакал.

ГЛАВА IV. КЛАССЫ.

Карл Иванович был очень не в духе. Это было заметно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означить то место, до которого мы должны были вытвердить. Володя учился порядочно; я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов, но от слез, набиравшихся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать; когда же пришло время говорить их Карлу Ивановичу, который, зажмурившись, слушал меня (это был дурной признак), именно на том месте: где один говорит: *Wo kommen sie her?*¹⁰ а другой отвечает: *ich komme vom Kaffe-Hause,*¹¹ я не мог более удерживать слез и от рыданий не мог произнести: *Haben sie die Zeitung nicht gelesen?*¹² Когда дошло дело до чистописания, я от слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на оберточной бумаге.

Карл Иванович рассердился, поставил меня на колени, твердил, что это упрямство, кукольная комедия (это было любимое его слово), угрожал линейкой и требовал, чтобы я про-

¹⁰ [Откуда вы идете?]

¹¹ [я иду изъ кафе,]

¹² [Вы не читали газеты?]

сил прощения, тогда как я от слез не мог слова вымолвить; наконец, должно быть, чувствуя свою несправедливость, он ушел в комнату Николая и хлопнул дверью.

Из классной слышен был разговор в комнате дядьки.

– Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву? сказал Карл Иванович, входя в комнату.

– Как же-с, слышал.

Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иванович сказал: «сиди, Николай!» и вслед за этим затворил дверь. Я вышел из угла и подошел к двери подслушивать.

– Сколько ни делай добра людям, как ни будь привязан, видно, благодарности нельзя ожидать, Николай? говорил Карл Иванович с чувством.

Николай, сидя у окна, за сапожной работой, утвердительно кивнул головой.

– Я двенадцать лет живу в этом доме и могу сказать перед Богом, Николай, продолжал Карл Иванович, поднимая глаза и табакерку к потолку: – что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети. Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, как я девять дней, не смыкая глаз, сидел у его постели. Да: тогда я был добрый, милый Карл Иванович, тогда я был нужен; а теперь, прибавил он, иронически улыбаясь: – теперь *дети большие стали: им надо серьезно учиться*. Точно они здесь не учатся, Николай?

– Как же еще учиться, кажется, сказал Николай, положив

шило и протягивая обеими руками дратвы.

– Да, теперь я не нужен стал, меня и надо прогнать; а где обещания? где благодарность? – Наталью Николаевну я уважаю и люблю, Николай, сказал он, прикладывая руку к груди: – да что́ она?... ее воля в этом доме все равно, что́ вот это; при этом он с выразительным жестом кинул на пол обренок кожи. – Я знаю, чьи это штуки и отчего я стал ненужен: оттого, что я не льщу и не потакаю во всем, как *иные люди*. Я привык всегда и перед всеми говорить правду, сказал он гордо. – Бог с ними! Оттого, что меня не будет, они не разбогатеют, а я, Бог милостив, найду себе кусок хлеба.... не так ли, Николай?

Николай поднял голову и посмотрел на Карла Иваныча так, как будто желая удостовериться, действительно ли может он найти кусок хлеба, – но ничего не сказал.

Много и долго говорил в этом духе Карл Иваныч: говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил (мне очень больно было это слышать), говорил о Саксонии, о своих родителях, о друге своем портном Schönheit и т. д. и т. д.

Я сочувствовал его горю, и мне больно было, что отец и Карл Иваныч, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга; я опять отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о том, как бы восстановить между ними согласие.

Вернувшись в классную, Карл Иваныч велел мне встать и приготовить тетрадь для писания под диктовку. Когда всё

было готово, он величественно опустился в свое кресло и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее: «Von al-len Lei-den-schaf-ten die grau-samste ist.... haben sie geschrieben?»¹³ Здесь он остановился, медленно понюхал табаку и продолжал с новой силой. «die grausamste ist die Un-dank-bar-keit.... Ein grosses U.»¹⁴ В ожидании продолжения, написав последнее слово, я посмотрел на него.

– Punctum,¹⁵ сказал он с едва заметной улыбкой и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради.

Несколько раз, с различными интонациями и с выражением величайшего удовольствия, прочел он это изречение, выражавшее его задушевную мысль; потом задал нам урок из истории и сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде; оно выражало довольство человека, достойно отмстившего за нанесенную ему обиду.

Было без четверти час; но Карл Иваныч, казалось, и не думал о том, чтобы отпустить нас: он то-и-дело задавал новые уроки. Скука и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворовая женщина с мочалкой идет мыть тарелки, вот слышно, как шумят посудой в буфете, раздвигают стол и ставят стулья, вот и Мими с Лю-

¹³ [Из всех пороков самый тяжкий.... написали?]

¹⁴ [самый тяжкий есть Неблагодарность... Большое Н.]

¹⁵ [Точка,]

бочкой и Катенькой (Катенька – двенадцатилетняя дочь Мими) идут из сада; но не видать Фоки – дворецкого Фоки, который всегда приходит и объявляет, что кушать готово. Тогда только можно будет бросить книги и, не обращая внимания на Карла Ивановича, бежать вниз.

Вот слышны шаги по лестнице; но это не Фока! Я изучил его походку и всегда узнаю скрип его сапогов. Дверь открылась, и в ней показалась фигура, мне совершенно неизвестная.

ГЛАВА V. ЮРОДИВЫЙ.

В комнату вошел человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою, продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение.

– Ага! попались! закричал он, маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку, – потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. – О-ох жалко! о-ох больно!... сердечные.... улетят, заговорил он потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы.

Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неровны, речь бессмысленна и несвязна (он никогда не употреблял

местоимений), но ударения так трогательны, и желтое, уродливое лицо его принимало иногда такое откровеннопечальное выражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти.

Это был юродивый и странник Гриша.

Откуда был он? кто были его родители? что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? никто не знал этого. Знаю только то, что он с пятнадцатого года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке, и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй.

Наконец явился давно желанный и пунктуальный Фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и татап ходили рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Марья Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично под прямым углом, примыкавшим к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставления сидевшим подле нее девочкам. Как только Карл Иваныч вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так: я вас не замечаю, Карл Ива-

ныч. По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие; но вскочить с своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать: «*bonjour, Mimi!*», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры.

Что за несносная особа была эта Мими! При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить: она всё находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала: *parlez donc français*,¹⁶ а тут-то, как на зло, так и хочется болтать по-русски; или за обедом – только что войдешь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно – *mangez donc avec du pain*, или *comment se que vous tenez votre fourchette?*¹⁷ «И какое ей до нас дело! – подумаешь. Пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иваныч». Я вполне разделял его ненависть к *иным людям*.

– Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту, сказала Катенька шопотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую.

– Хорошо; постараемся.

Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком; он не поднимал глаз с своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам с собою: жал-

¹⁶ [говорите же по-французски,]

¹⁷ [ешьте же с хлебом, или как вы держите вилку?]

ко!... улетела.... улетит голубь в небо.... ох, на могиле камень!... и т. п.

Мама с утра была расстроена; присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение.

– Ах да, я было и забыла попросить тебя об одной вещи, сказала она, подавая отцу тарелку с супом.

– Что́ такое?

– Вели пожалуста запирать своих страшных собак; а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они этак и на детей могут броситься.

Услышав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать:

– Хотел, чтобы загрызли... Бог не попустил. Грех собаками травить! большой грех! Не бей *большак*,¹⁸ что бить? Бог простит.... дни не такие.

– Что́ это он говорит? спросил папа, пристально и строго рассматривая его. – Я ничего не понимаю.

– А я понимаю, отвечала мама: – он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак, так он и говорит: «хотел, чтобы загрызли, но Бог не попустил, и просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его».

– А! вот что! сказал папа. – Почем же он знает, что я хочу наказывать этого охотника? – Ты знаешь, я вообще не большой охотник до этих господ, продолжал он по-французски:

¹⁸ Так он безразлично называл всех мужчин.

– но этот особенно мне не нравится и должен быть....

– Ах, не говори этого, мой друг, прервала его татап, как будто испугавшись чего-нибудь: – почему ты знаешь?

– Кажется, я имел случай изучить эту породу людей – их столько к тебе ходит – все на один покрой. Вечно одна и та же история....

Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить.

– Передай мне пожалуйста пирожок, сказала она. – Что, хороши ли они нынче?

– Нет, меня сердит, продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы татап не могла достать его: – нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман.

И он ударил вилкой по столу.

– Я тебя просила передать мне пирожок, повторила она протягивая руку.

– И прекрасно делают, продолжал папа, отодвигая руку: – что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстроивают и без того слабые нервы некоторых особ, прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал ей пирожок.

– Я на это тебе только одно скажу: трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои шестьдесят лет, зиму и лето ходит босой и не снимая носит под платьем вериги в два пуда весом, и который не раз отказывался от предложений

жить спокойно и на всем готовом, – трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени.

– Насчет предсказаний, прибавила она со вздохом и помолчав немного: – je suis payée pour y croire;¹⁹ я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину.

– Ах, что ты со мной сделала! сказал папа, улыбаясь и приставив руку ко рту с той стороны, с которой сидела Мими (Когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного.) – Зачем ты мне напомнила об его ногах? я посмотрел и теперь ничего есть не буду.

Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертелись на своих стульях и вообще изъясляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило: «что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?» Я толкнул локтем Володю, Володя толкнул меня и наконец решился: сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко, он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту, в линейке. После небольшого совещания между большими, вопрос этот решен был в нашу пользу, и – что было еще приятнее – татап сказала, что она сама поедет с нами.

¹⁹ [я достаточно поплатилась, чтобы в это верить;]

ГЛАВА VI.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОХОТЕ.

Во время пирожного был позван Яков, и отданы приказания насчет линейки, собак и верховых лошадей – всё с величайшею подробностью, называя каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала; папа велел оседлать для него охотничью. Это слово: «охотничья лошадь», как-то странно звучало в ушах татап: ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то в роде бешеного зверя, и что она непременно понесет и убьет Володю. Несмотря на увещания папа и Володи, который с удивительным молодечеством говорил, что это ничего и что он очень любит, когда лошадь несет, бедняжка татап продолжала твердить, что она всё гулянье будет мучиться.

Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими, желтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о том, что Володя поедет на охотничьей лошади, о том, как стыдно, что Любочка тише бегаёт, чем Катенька, о том, что интересно было бы посмотреть вериги Гриши, и т. д.; о том же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидело по дворовому мальчи-

ку. За линейкой ехали охотники с собаками, за охотниками – кучер Игнат, на назначенной Володе лошади, и вел в поводу моего старинного клепера. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали наверх одеваться, и одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Нимало не медля, мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо наслаждаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками.

День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлиннели и бежали на горизонт; другие, над самой головой, превратились в белую прозрачную чешую; одна только черная большая туча остановилась на востоке. Карл Иваныч всегда знал, куда какая туча пойдет; он объявил, что эта туча пойдет к Масловке, что дождя не будет, и погода будет превосходная.

Фока, несмотря на свои преклонные лета, сбегал с лестницы очень ловко и скоро, крикнул: «подавай!» и, раздвинув ноги, твердо стал по середине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом, в по-

зиции человека, которому не нужно напоминать о его обязанности. Барыни сошли и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться (хотя, мне кажется, совсем не нужно было держаться), уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, мама, указывая на «охотничью лошадь», спросила дрожащим голосом у кучера:

– Эта для Владимира Петровича лошадь?

И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении: взлез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по двору разные эволюции.

– Собак не извольте раздавить, сказал мне какой-то охотник.

– Будь покоен: мне не в первый раз, отвечал я гордо.

Володя сел на «охотничью лошадь», несмотря на твердость своего характера, не без некоторого содрогания, и, оглаживая ее, несколько раз спросил:

– Смирна ли она?

На лошади же он был очень хорош – точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно, – особенно потому, что, сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида.

Вот слышались шаги папа на лестнице; выжлятник подогнал отрыскавших гончих; охотники с борзыми подозвали своих и стали садиться. Стремянный подвел лошадь к

крыльцу; собаки своры папа, которые прежде лежали в разных живописных позах около нее, бросились к нему. Вслед за ним, в бисерном ошейнике, побрякивая железкой, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками: с одними поиграет, с другими понюхается и порычит, а у некоторых поищет блох.

Папа сел на лошадь, и мы поехали.

ГЛАВА VII. ОХОТА.

Доезжачий, прозывавшийся Турка, на голубой, горбоносо́й лошади, в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал впереди всех. По мрачной и свирепой наружности этого человека скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади, пестрым, волнующимся клубком, бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную, которой вздумывалось отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из выжлятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арапником, приговаривая: «в кучу!» Выехав за ворота, папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле.

Хлебная уборка была во всем разгаре. Необозримое, блестяще-желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким, синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдаленным, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Все поле было покрыто копнами и народом. В высокой, густой ржи виднелись кой-где, на выжатой полосе, согнутая спина жницы, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина, в тени, нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками жнивью. В другой стороне

мужики в одних рубахах, стоя на телегах, накладывали копы и пылили по сухому, раскаленному полю. Староста, в сапогах и армяке в накидку, с бирками в руке, издалека заметив папа, снял свою поярковую шляпу, утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрикивал на баб. Рыженькая лошадка, на которой ехал папа, шла легкой, игривой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на нее. Две борзые собаки, напряженно загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жнивью, за ногами лошади; Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей и телег, веселый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-желтому жнивью, синей дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жнивью, – всё это я видел, слышал и чувствовал.

Подъехав к Калиновому лесу, мы нашли линейку уже там и, сверх всякого ожидания, еще телегу в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелись: самовар, кадка с мороженой формой и еще кой-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться: это был чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. При виде телеги, мы изъявили шумную радость, потому что пить чай

в лесу на траве и вообще на таком месте, на котором никто и никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением.

Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал от папа подробное наставление, как равняться и куда выходить (впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по своему), разомкнул собак, не спеша второчил смычки, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми березками. Разомкнутые гончие прежде всего маханиями хвостов выразили свое удовольствие, встряхнулись, оправились и потом уже маленькой рысцой, принохиваясь и махая хвостами, побежали в разные стороны.

– Есть у тебя платок? спросил папа.

Я вынул из кармана и показал ему.

– Ну, так возьми на платок эту серую собаку....

– Жирана? сказал я, с видом знатока.

– Да; и беги по дороге. Когда придет полянка, остановись и смотри: ко мне без зайца не приходите!

Я обмотал платком мохнатую шею Жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед:

– Скорей, скорей, а то опоздаешь.

Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканью охотников. У меня недоставало сил стащить его с места, и я начинал кричать: «ату! ату!» Тогда Жиран рвался так сильно, что я насилу мог удерживать его, и не раз упал, покуда добрался до места. Избрав у корня

высокого дуба тенистое и ровное место, я лег на траву, усадил подле себя Жирана и начал ожидать. Воображение мое, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперед действительности: я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время, как отозвалась в лесу первая гончая. Голос Турки громче и одушевленное раздался по лесу; гончая взвизгивала, и голос ее слышался чаще и чаще; к нему присоединился другой, басистый голос, потом третий, четвертый.... Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее и наконец слились в один звонкий, залиvistый гул. *Остров был голосистый и гончие варили варом.*

Услышав это, я замер на своем месте. Вперив глаза в опушку, я бессмысленно улыбался; пот катился с меня градом, и хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряженности было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня; зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С Жираном было то же самое: сначала он рвался и взвизгивал, потом лег подле меня, положил морду мне на колени и успокоился.

Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел, по серой, сухой земле, между сухими дубовыми листьями, жолудями, пересохшими, обомшальными хворостинками, желто—зеленым мхом и изредка пробивавшимися, тонкими,

зелеными травками, кишмя кишели муравьи. Они, один за другим, торопились, по пробитым ими торным дорожкам: некоторые с тяжестями, другие порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под нее, другие перелезали через; а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать: останавливались, искали обхода, или ворочались назад, или по хворостинке добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был отвлечен бабочкой, с желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вилась передо мною. Как только я обратил на нее внимание, она отлетела от меня шага на два, повилась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли ее пригрело, или она брала сок из этой травки – только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку, наконец совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на нее.

Вдруг Жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову и я всё забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться: заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видал.

Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не *выдержал*) и, презрительно взглянув на меня, сказал только: «Эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано! Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло.

Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя по ляжкам.

– Боже мой, что я наделал!

Я слышал, как гончие погнались дальше, как застучали²⁰ на другой стороне острова, отбили зайца, и как Турка в свой огромный рог вызывал собак, – но всё не трогался с места....

²⁰ ОТ РЕДАКЦИИ. В седьмой главе первого тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (стр. 26, строка 1 сверху) напечатано согласно тексту „Современника“ и всех прочих печатных изданий: „застукали на другой стороне“. В данном случае Редакция полагалась на текст „Современника“, который редактировался Н. А. Некрасовым, как известно, опытным охотником. Вследствие этого в журнальный текст, а за ним и во все издания, вкралась ошибка. Вместо охотничьего термина „заатукать“ или „заотукать“, как писал Толстой, употребивший этот термин в черновой редакции „Детства“ – „Четыре эпохи развития“ (см. стр. 129, отрока 32), ошибочно напечатано: „застукали“. Редакция.

ГЛАВА VIII. ИГРЫ.

Охота кончилась. В тени молодых березок был разостлан ковер и на ковре кружком сидело всё общество. Буфетчик Гаврило, примяв около себя зеленую сочную траву, перетирал тарелки и доставал из коробочки завернутые в листья сливы и персики. Сквозь зеленые ветви молодых берез просвечивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на плешивую, вспотевшую голову Гаврилы круглые, колеблющиеся просветы. Легкий ветерок, пробегая по листве деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу, необычайно освежал меня.

Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые, палящие лучи солнца, встали и отправились играть.

– Ну, во что? сказала Любочка, щурясь от солнца и припрыгивая по траве. – Давайте в Робинзона.

– Нет.... скучно, сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья: – вечно Робинзон! Ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить.

Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, что очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта со-

стояла в представлении сцен из «Robinson Suisse»,²¹ которого мы читали не задолго пред этим.

– Ну, пожалуйста.... отчего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия? приставали к нему девочки. – Ты будешь Charles или Ernest, или отец – как хочешь? говорила Катенька, стараясь за рукав курточки приподнять его с земли.

– Право не хочется – скучно! сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь.

– Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть, сквозь слезы выговорила Любочка.

Она была страшная плакса.

– Ну, пойдемте; только не плачь пожалуйста: терпеть не могу!

Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушал всё очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Володя сидел сложа руки и в позе, неимеющей ничего схожего с позой рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что от того, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем и всё же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре,

²¹ [Швейцарский Робинзон,]

были крайне неприятны, тем более, что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно.

Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были тройка лошадей, – и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге! и как весело и скоро проходили зимние вечера!... Ежели судить по настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остается?...

ГЛАВА IX. ЧТО-ТО В РОДЕ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ.

Представляя, что она рвет с дерева какие-то американские фрукты, Любочка сорвала на одном листке огромной величины червяка, с ужасом бросила его на землю, подняла руки кверху и отскочила, как будто боясь, чтобы из него не брызнуло чего–нибудь. Игра прекратилась; мы все, головами вместе, припали к земле – смотреть эту редкость.

Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге.

Я заметил, что многие девочки имеют привычку подергивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Еще помню, что Мими всегда сердилась за это движение и говорила: *c'est un geste de femme de chambre*.²² Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение, и в то же время ветер поднял косыночку с ее беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка, смотрел-смотрел и изо всех сил поцаловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейка ее и уши покраснели. Володя, не поднимая головы, презрительно сказал:

²² [это жест горничной.]

– Что за нежности?

У меня же были слезы на глазах.

Я не спускал глаз с Катеньки. Я давно уже привык к ее свеженькому, белокуренькому личику и всегда любил его; но теперь я внимательнее стал всматриваться в него и полюбил еще больше. Когда мы подошли к большим, папа, к великой нашей радости, объявил, что, по просьбе матушки, поездка отложена до завтрашнего утра.

Мы поехали назад вместе с линейкой. Володя и я, желая превзойти один другого искусством ездить верхом и молодецеством, гарцовали около нее. Тень моя была длиннее, чем прежде, и, судя по ней, я предполагал, что имею вид довольно красивого всадника; но чувство самодовольства, которое я испытывал, было скоро разрушено следующим обстоятельством. Желая окончательно прельстить всех сидевших в линейке, я отстал немного, потом, с помощью хлыста и ног, разогнал свою лошадку, принял непринужденно-грациозное положение и хотел вихрем пронестись мимо их, с той стороны, с которой сидела Катенька. Я не знал только, что лучше: молча ли проскакать, или крикнуть? Но несносная лошадка, поровнявшись с упряжными, несмотря на все мои усилия, остановилась так неожиданно, что я перескочил с седла на шею и чуть-чуть не полетел.

ГЛАВА X. ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ МОЙ ОТЕЦ?

Он был человек прошлого века и имел общий молодежи того века неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. На людей нынешнего века он смотрел презрительно, и взгляд этот происходил столько же от врожденной гордости, сколько от тайной досады за то, что в наш век он не мог иметь ни того влияния, ни тех успехов, которые имел в свой. Две главные страсти его в жизни были карты и женщины; он выиграл в продолжение своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий.

Большой, статный рост, странная, маленькими шажками походка, привычка подергивать плечом, маленькие, всегда улыбающиеся глазки, большой орлиный нос, неправильные губы, которые как-то неловко, но приятно складывались, недостаток в произношении – прищептывание, и большая во всю голову лысина: вот наружность моего отца, с тех пор, как я его запомню, – наружность, с которою он умел не только прослыть и быть человеком *à bonnes fortunes*,²³ но нравиться всем без исключения – людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотел нравиться.

²³ [удачливым,]

Он умел взять верх в отношениях со всяким. Не быв никогда человеком *очень большого света*, он всегда водился с людьми этого круга, и так, что был уважаем. Он знал ту крайнюю меру гордости и самонадеянности, которая, не оскорбляя других, возвышала его в мнении света. Он был оригинален, но не всегда, а употреблял оригинальность как средство, заменяющее в иных случаях светскость или богатство. Ничто на свете не могло возбудить в нем чувства удивления: в каком бы он ни был блестящем положении, казалось, он для него был рожден. Он так хорошо умел скрывать от других и удалять от себя известную всем темную, наполненную мелкими досадами и огорчениями, сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему. Он был знаток всех вещей, доставляющих удобства и наслаждения, и умел пользоваться ими. Конек его был блестящие связи, которые он имел частью по родству моей матери, частью по своим товарищам молодости, на которых он в душе сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии. Он, как и все бывшие военные, не умел одеваться по модному; но зато он одевался оригинально и изящно. Всегда очень широкое и легкое платье, прекрасное белье, большие отвороченные манжеты и воротнички.... Впрочем, все шло к его большому росту, сильному сложению, лысой голове и спокойным, самоуверенным движениям. Он был чувствителен и даже слезлив. Часто, читая вслух, когда он доходил до патетического места, голос его начинал дрожать, слезы пока-

зывались, и он с досадой оставлял книгу. Он любил музыку, певал, акомпанируя себе на фортепьяно, романсы приятеля своего А...., цыганские песни и некоторые мотивы из опер; но ученой музыки не любил и, не обращая внимания на общее мнение, откровенно говорил, что сонаты Бетховена нагоняют на него сон и скуку, и что он не знает лучше ничего, как «Не будите меня молодую», как ее певала Семенова, и «Не одна», как певала цыганка Танюша. Его натура была одна из тех, которым для хорошего дела необходима публика. И то только он считал хорошим, что называла хорошим публика. Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения? Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составлять себе их, да он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости.

В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила, – но единственно на основании практическом: те поступки и образ жизни, которые доставляли ему счастье или удовольствия, он считал хорошими и находил, что так всегда и всем поступать должно. Он говорил очень увлекательно, и эта способность, мне кажется, усиливала гибкость его правил: он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шалость и как низкую подлость.

ГЛАВА XI. ЗАНЯТИЯ В КАБИНЕТЕ И ГОСТИНОЙ.

Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Маман села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска; но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади, и синих собак, я не знал наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то и на вопрос мой: «бывают ли синие зайцы?» не поднимая головы, отвечал: «бывают, мой друг, бывают». Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца, потом нашел нужным переделать из синего зайца куст. Куст тоже мне не понравился: я сделал из него дерево, из дерева – скирд, из скирда – облако и наконец так испачкал всю бумагу синей краской, что с досады разорвал ее и пошел дремать на вольтеровское кресло.

Маман играла второй концерт Фильда – своего учителя. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Маман часто играла эти две пьесы;

поэтому я очень хорошо помню чувство, которое они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминания; но воспоминания чего? казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было.

Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Дверь тотчас затворилась за ними. «Ну, начались занятия!» подумал я. Мне казалось, что важнее тех дел, которые делались в кабинете, ничего в мире быть не могло; в этой мысли подтверждало меня еще то, что к дверям кабинета все подходили обыкновенно перешептываясь и на цыпочках; оттуда же был слышен громкий голос папа и запах сигары, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекал. В просонках меня вдруг поразил очень знакомый скрип сапогов в официантской. Карл Иваныч, на цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке, подошел к двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась.

«Как бы не случилось какого-нибудь несчастья – подумал я – Карл Иваныч рассержен: он на всё готов....»

Я опять задремал.

Однако, несчастья никакого не случилось; через час времени меня разбудил тот же скрип сапогов. Карл Иваныч, утирая платком слезы, которые я заметил на его щеках, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел наверх. Вслед за ним вышел папа и вошел в гостиную.

– Знаешь, что я сейчас решил? сказал он веселым голо- сом, положив руку на плечо татап.

– Что, мой друг?

– Я беру Карла Иваныча с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, точно привязан, а 700 рублей в год никакого счета не делают, et puis au fond c'est un très bon diable.²⁴

Я никак не мог постигнуть, зачем папа бранит Карла Ива- ныча.

– Я очень рада, сказала татап: – за детей, за него: он слав- ный старик.

– Если бы ты видела, как он был тронут, когда я ему ска- зал, чтобы он оставил эти 500 рублей в виде подарка... но что забавнее всего – это счет, который он принес мне. Это сто́ит посмотреть, прибавил он с улыбкой, подавая ей запис- ку, написанную рукою Карла Иваныча: – прелесть!

Вот содержание этой записки:

«Для детьей два удочка – 70 копек.

«Цветной бумага, золотой коемочка, клестир и болван для коробочка, в подарках – 6 р. 55 к.

«Книга и лук, подарка детьям – 8р. 16 к.

«Панталон Николаю – 4 рубли.

«Обещаны Петром Алексантровичь из Москву в 18.. году золотые часы в 140 рублей.

«Итого следует получить Карлу Мауеру кроме жалованию

²⁴ [и потом, в сущности, он славный малый)

– 159 рублей 79 копек».

Прочтя эту записку, в которой Карл Иванович требует, чтобы ему заплатили все деньги, издержанные им на подарки, и даже заплатили бы за обещанный подарок, всякий подумает, что Карл Иванович больше ничего, как бесчувственный и корыстолюбивый себялюбец, – и всякий ошибется.

Войдя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он намеревался красноречиво изложить перед папа все несправедливости, претерпённые им в нашем доме; но когда он начал говорить тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого; так-что, дойдя до того места, в котором он говорил: «как ни грустно мне будет расстаться с детьми», он совсем сбился, голос его задрожал и он принужден был достать из кармана клетчатый платок.

– Да, Петр Александрыч, сказал он сквозь слезы (этого места совсем не было в приготовленной речи): – я так привык к детям, что не знаю, что буду делать без них. Лучше я без жалованья буду служить вам, прибавил он, одной рукой утирая слезы, а другой подавая счет.

Что Карл Иванович в эту минуту говорил искренно, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце; но каким образом согласовался счет с его словами, остается для меня тайной.

– Если вам грустно, то мне было бы еще грустнее расстать-

ся с вами, сказал папа, потрепав его по плечу:—я теперь раздумал.

Не задолго перед ужином в комнату вошел Гриша. Он с самого того времени, как вошел в наш дом, не переставал вздыхать и плакать, что, по мнению тех, которые верили в его способность предсказывать, предвещало какую нибудь беду нашему дому. Он стал прощаться и сказал, что завтра утром пойдет дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь.

– Что?

– Если хотите посмотреть Гришины вериги, то пойдемте сейчас на мужской верх – Гриша спит во второй комнате – в чулане прекрасно можно сидеть, и мы всё увидим.

– Отлично! Подожди здесь: я позову девочек.

Девочки выбежали, и мы отправились наверх. Не без спору решив, кому первому войти в темный чулан, мы уселись и стали ждать.

ГЛАВА XII. ГРИША.

Нам всем было жутко в темноте; мы жались один к другому и ничего не говорили. Почти вслед за нами тихими шагами вошел Гриша. В одной руке он держал свой посох, в другой – сальную свечу в медном подсвечнике. Мы не переводили дыхания.

– Господи Иисусе Христе! Мати Пресвятая Богородица! Отцу и Сыну и Святому Духу.... вдыхая в себя воздух, твердил он, с различными интонациями и сокращениями, собственными только тем, которые часто повторяют эти слова.

С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распоясав свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный нанковый зипун, тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия; напротив, он был спокоен, задумчив и даже величав. Движения его были медленны и обдуманны.

Оставшись в одном белье, он тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон, и, как видно было, с усилием – потому что он поморщился – поправил под рубашкой вериги. Посидев немного и заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах белье, он встал, с молитвой поднял свечу в уровень с кивотом, в котором стояло несколько образов, перекрестился на них и перевернул свечу огнем вниз. Она с

треском потухла.

В окна, обращенные на лес, ударяла почти полная луна. Длинная белая фигура юродивого с одной стороны была освещена бледными, серебристыми лучами месяца, с другой – черной тенью; вместе с тенями от рам, падала на пол, стены и доставала до потолка. На дворе караульщик стучал в чугунную доску.

Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться.

Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с большим одушевлением. Он начал говорить свои слова, с заметным усилением стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке, о нас, молился о себе, просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, твердил; «Боже, прости врагам моим!» кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой, резкий звук, ударяясь о землю.

Володя ущипнул меня очень больно за ногу; но я даже не оглянулся: потер только рукой то место и продолжал, с чувством детского удивления, жалости и благоговения, следить

за всеми движениями и словами Гриши.

Вместо веселия и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца.

Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: *Господи помилуй*, но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: *прости мя, Господи, научи мя что творить... научи мя что творити, Господи!* с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания.... Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.

Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхания. Гриша не шевелился; из груди его вырывались тяжелые вздохи; в мутном зрачке его кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза.

– Да будет воля Твоя! вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал как ребенок.

Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование; но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти.

О, великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих – ты их не по-

верял рассудком.... И какую высокую хвалу ты принес Его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!...

Чувство умиления, с которым я слушал Гришу, не могло долго продолжаться, во-первых потому, что любопытство мое было насыщено, а во-вторых потому, что я отсидел себе ноги, сидя на одном месте, и мне хотелось присоединиться к общему шептанью и возне, которые слышались сзади меня в темном чулане. Кто-то взял меня за руку и шопотом сказал: чья это рука? В чулане было совершенно темно; но по одному прикосновению и голосу, который шептал мне, над самым ухом, я тотчас узнал Катеньку.

Совершенно бессознательно я схватил ее руку в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. Катенька верно удивилась этому поступку и отдернула руку: этим движеньем она толкнула сломанный стул, стоявший в чулане. Гриша поднял голову, тихо оглянулся и, читая молитвы, стал крестить все углы. Мы с шумом и шопотом выбежали из чулана.

ГЛАВА XIII. НАТАЛЬЯ САВИШНА.

В половине прошлого столетия, по дворам села Хабаровки бегала, в затрапезном платье, босоногая, но веселая, толстая и краснощекая девка *Наташка*. По заслугам и просьбе отца ее, кларнетиста Саввы, дед мой взял ее *вверх* — находиться в числе женской прислуги бабушки. Горничная *Наташка* отличилась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на *Наташку*. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась итти к дедушке просить позволения выйти за Фоку замуж. Дедушка принял ее желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью за наказание на скотный двор в степную деревню. Через 6 месяцев однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в затрапезку из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на

нее нашла было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И действительно, она сдержала свое слово.

С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной и надела чепец; весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою.

Когда подле матушки заменила ее гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Она вся жила в барском добре, во всем видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать.

Когда татап вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ее двадцатилетние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана вольная Наталье Савишне, и сказала, что, несмотря на то, будет ли она, или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в 300 рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, татап, немного погодя, вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед

ней клочки изорванной вольной.

– Что с вами, голубушка Наталья Савишна? спросила татап, взяв ее за руку.

– Ничего, матушка, отвечала она: – должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните.... Что ж, я пойду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.